

ВАДИМ ВОЛКОВ,

научный сотрудник Европейского университета (Санкт-Петербург), стипендиат Фонда Дж. и К.МакАртуров

Практики, традиции и границы европейской интеграции

Abstract

The major assertion of the paper is that social integration rests on shared practices, habits, and traditions.

The concepts of practical knowledge and style within the context of pragmatic approach to norms and rules enabled social theorists to reconsider the idea of tradition.

So one of the main tasks of sociology in the face of European integration is to take into account a variety of local traditions and their long lasting impact in historical development of particular societies.

Основной замысел организаторов конференции состоял в том, чтобы побудить социологов вслед за экономистами осмыслить перспективы объединенной Европы. Действительно, экономисты уже давно говорят о преимуществах интеграции. Однако, если бы сугубо экономической рациональности было достаточно для того, чтобы сформировать общественные устои в соответствии с намеченным разделением труда, для социологической рефлексии не оставалось бы места. Точно так же, если бы европейское единство зависело только от политической воли его участников, вопрос “вступит ли в действие Европа?” был бы излишним. Таким образом, я бы рассматривал эти слова, обозначившие тему конференции, как выражение собственно социологической постановки вопроса о сдерживающих факто-

* Статья подготовлена на основе доклада В.Волкова на пленарном заседании IV Конференции Европейской социологической ассоциации (18–21 августа 1999 года). Перевод с английского С.Иващенко по тексту, любезно предоставленному редакции автором: *Volkov V. Practices, Traditions and Boudaries of European Integration* (на правах рукописи).

рах и ограничениях, которые следует учитывать, когда на повестке дня становление нового, более масштабного социального целого. Речь идет, стало быть, не об экономических выгодах, политических рычагах или же нормативных требованиях, подталкивающих общества на путь перемен, а скорее о том, что делает возможными эти сдвиги в направлении объединения.

Далее я намерен показать, что ни равенство в экономическом развитии, ни сходство форм правления не имеют решающего значения, чтобы вступил в действие любой проект наподобие объединенной Европы. Ибо ни экономические выкладки, ни политические устои не дают исчерпывающего представления о реальном поведении людей и их образе действий в повседневной жизни. Я убежден, что именно практики, обычаи, традиции и прочие подобные явления подспудно определяют сопоставимость различных обществ и возможности их системной интеграции. Чтобы выразить эту в известной мере консервативную точку зрения, можно, в частности, сказать, прибегнув к привычному языку социальной теории, что общественная интеграция, которая вырастает из общности практик, обуславливает форму системной интеграции, основанной на таких механизмах, как деньги и власть. Иными словами, социальная интеграция предполагает общность практик, обычаев и традиций. И наоборот, если общества расходятся в своих основополагающих практиках, обычаях и традициях, они не могут образовать действующую, живую целостность, единое сообщество, даже если налицо все необходимые факторы системной интеграции политической и экономической природы.

Чтобы обосновать это утверждение, я должен прежде всего реконструировать социальную теорию практик, или социологию практик, которая до сих пор довольствуется маргинальным статусом в научных кругах, несмотря на многочисленные попытки придать ей большую значимость. Затем следует кратко обсудить, имеет ли эта форма знания общества о себе самом универсальное применение или же она ограничена конкретным историческим опытом. И наконец, поскольку я сам принадлежу к обществу, которое я считаю совершенно *не-европейским*, — по крайней мере, что касается его практик, обычаев и традиций, если не идеологических принципов, — я приведу несколько примеров несопоставимости ключевых практик и таким образом подойду к вопросу о границах и аутсайдерах европейской интеграции.

1

Понятие практики, или практик не ново для социальных наук — поворот в сторону практики обозначился более чем два десятилетия назад [1–2]. Он происходил почти одновременно в антропологии, социологии, истории и в науковедении по мере того, как эти дисциплины стали осваивать наследие Ф.Ницше, М.Хайдеггера и Л.Витгенштейна [3–4]. В этом направлении были созданы образцовые работы, которые положили начало новому критическому подходу в изучении общества:

- *научные парадигмы* Т.Куна;
- *дисциплина* М.Фуко;
- *габитус* П.Бурдьё;
- *этнометодология практических рассуждений*, если ограничиться упоминанием лишь нескольких разработок [5–8].

Все они исходили из того, что четкие нормы, формальные правила, идеологии и т. п., все, в чем предшествующие исследователи ошибочно усматривали истоки социальной реальности, на самом деле очень мало говорят нам о том, как устроено общество и как действуют реальные люди, решая свои повседневные проблемы. Исследователи прагматической ориентации обнаружили, что на самом деле практика, которой придерживаются ученые, потребители, носители языка или простые обыватели, существенно отличается от нормативных моделей, которые до сих пор разрабатывались в общественных науках для каждой подобной институциональной области. Дело не в том только, что нормы, правила, кодексы и т.п. никогда не содержат способов их практического приложения и поэтому сами по себе не способны порождать практику, но, кроме того, во многих случаях они способствуют лишь сокрытию и ложному пониманию действительной логики, присущей практике [9].

Попытаюсь бегло обобщить некоторые наиболее важные для социологии моменты, проистекающие из прагматической переориентации в науке. Во-первых, оказалось проблематичным понятие значения, рассматриваемого ранее в интерпретативной социологии как нечто однозначное и простое, то, чем объясняются интенциональные состояния социальных *акторов*. Поздний Витгенштейн и его последователи в области философии обыденного языка показали, что значение не содержится в языке самом по себе или же в сознании индивидов, но может быть артикулировано только на основании определенной практической деятельности [10]. Повторяющиеся комбинации слов и действий, принятые в определенной культуре, получили название языковых игр. Ключевое для социологии допущение такой точки зрения состояло в идее культурной относительности, то есть множественности жизненных форм, в которых коренятся значение и смысл понятий.

Во-вторых, исследователи прагматической ориентации развивали скептический подход к нормам и правилам, которые ранее социологи наделяли каузальной силой и, посему, рассматривали как достаточное объяснение индивидуального и коллективного поведения. Правила подлежат применению, и их воплощение в практику зависит от местных традиций и даже индивидуального творчества [11–12]. Изречение “ни одно правило не содержит способа его применения” стало основанием для вознесения практики над царством норм. Таким путем в сегодняшнюю социологию и историю вошло понятие тактики, то есть специфического способа применения авторитетных правил и стратегий власти, что, в сущности, сводится к противодействию им и опровержению [13–14].

В-третьих, любое практическое искусство — в политике, управлении, науке — предполагает практические знания, “ноу-хау”, то есть “знание о том, как” в отличие от “знания о том, что” и “знания о том, почему” [15–16]. Практическое знание беспредпосылочно, конкретно и достигается скорее с обретением навыков, чем благодаря запоминанию правил и теорий. Согласно основам социологии, рациональное действие предполагает мотивы, цели и средства. Социология сосредоточивает внимание на мотивах и целях, оставляя понятие о средствах во многом не проясненным. Однако практическое знание принадлежит к сфере средств, и в силу этого оно определяет исход дела, безотносительно к целям и мотивам. Открытие области практического знания привнесло третье измерение в классическую эпистемологическую дилемму “объяснение versus понима-

ние”, а именно — измерение описания. Наряду с каузальным объяснением (“потому, что”) и интенциональной структурой (“для того, чтобы”) действительный обозначился вопрос “как”. Идея стиля выражает идентичность действия — то в нем, что не может быть сведено к чему бы то ни было вне его, вроде целей, мотивов, интересов, оправданий и т.п. Именно в этом смысле стиль (или манера) тождествен практике как искусству действия в реальной жизни и в реальном времени. Понятие стиля подчеркивает своеобразие и индивидуальность в сочетании с повторяемостью и устойчивостью.

И наконец, понятия практического знания и стиля позволили создателям социальных теорий переосмыслить идею традиции. Традиционное поведение, как мы помним, было разоблачено М.Вебером как слепое и почти *не-человеческое*. В рамках практической парадигмы традиция рассматривается как нечто отличное от сугубо слепого подчинения авторитету предков (или “устоям незапамятных времен”). Здесь в понятии традиции представлено временное измерение практических умений и “схвачены” пути трансмиссии практик [17]. Они передаются, конечно же, посредством обучения, но обучения не формулам, правилам или принципам, а собственно практике, подобно тому, как ребенок изучает язык, запоминая слова в их употреблении. Традиции, которые обеспечивают единство того или иного общества, задают основные принципы всякой сферы деятельности (как, например, традиции в социологии), и в этом смысле они необходимы для любой институции в любом обществе прошлого и настоящего, не только для неких отсталых, “традиционных” обществ.

Эти идеи можно подытожить, обратившись в качестве примера к поварскому искусству и поваренной книге, вслед за философом М.Оукшоттом [17]. Поваренная книга не является самостоятельным началом, из которого может развиваться приготовление блюд; это не что иное, как свод чьих-то конкретных знаний о том, как следует готовить. Поваренная книга предполагает существование некоего субъекта, уже знающего, как готовить, и намеревающегося сообщить нечто тому, кто этого не знает. Рецепты приобретают смысл в практике приготовления пищи, и каждое блюдо создается каквольная интерпретация рецепта. Как известно, национальная кухня является своеобразным и привычным образом общества — знаком его, столь же рельефным, как и местный диалект. Поваренная книга бесполезна или способна ввести в заблуждение без искусного повара (который может быть даже неграмотным). Представим себе, что в Норвегии, к примеру, люди никогда не готовили или не пробовали пиццу, и кто-то, по случаю, привез книгу рецептов итальянской кухни. Смогут ли они использовать эту книгу? Или же, если они начнут готовить нечто вроде норвежской пиццы и даже преуспеют в этом, получают ли они в результате нечто похожее на итальянскую пиццу? Итак, главное в этом примере состоит в том, что его можно распространить практически на любую сферу деятельности — политику, воспитание детей, управление, вождение автомобиля и т.п. И в каждой деятельности рецепт, или формальные правила будут занимать такое же подчиненное, зависимое место. Так вот, поваренная книга “европейской кухни”, пожалуй, представляет собой тот же уровень абстракции, что и “европейское общество”.

2

Теперь обратимся к тому факту, что все эти концепции практики, регулятивов, практического знания и традиции родились вне русла социологии, в английских академических кругах. Научная мысль, породившая эти термины, была далека от социологии с ее дисциплинарной матрицей, хотя ее тоже занимали социальные и культурные феномены. Изначально социология развивалась как способ осмысления общества во Франции и Германии. В таком понимании, Англия не знала социологии, и ее способ рефлексии по поводу общественных явлений был совершенно иным. (Сегодня во всех странах Запада существует социология — в том смысле, что там есть академические институты, которые занимаются определенного рода исследованиями. Вместе с тем, лишь относительно трех из стран — Германии, Франции и США — можно говорить о собственной социологической традиции.) Таким образом, может показаться странным, что Британия с ее богатой традицией общественной мысли не дала миру своих социологов-классиков веберовского или дюркгеймовского масштаба. Зато в английской научной мысли развивался другой стиль мышления, кратко очерченный мною выше. Этот стиль не был ни объективистским, как у Э.Дюркгейма, ни идеалистическим, как у М.Вебера, но был отмечен духом прагматизма. Заметьте, что даже столь явно объективистский подход к обществу, как у К.Маркса, был усвоен некоторыми английскими исследователями с характерным прагматическим уклоном — я, в частности, имею в виду историю формирования английского рабочего класса в ее практическом аспекте, написанную П.Томпсоном. Речь идет о том, что любая интеллектуальная традиция, или образ мыслей относительно политики или общества изоморфно связаны с общественными традициями этой страны.

Социология изначально создавалась отнюдь не по некой “социологической поваренной книге”, но как практика осмысления исторической судьбы конкретных государств и обществ. Обычно первым делом всплывают в сознании жизнь города в наблюдениях Г.Зиммеля или же уклад американских квакеров в описании М.Вебера. Я же хочу показать нечто иное. Социологи исходят из допущения о единообразии поведения множества анонимных индивидов. Это предполагает в качестве предпосылки существование больших сообществ, воображаемых или реальных, чья деятельность в ее специфике должна определяться устоявшимися правилами. Стремление социологов применить научные методы для изучения и объяснения наблюдаемых закономерностей вполне логично. Итак, вопрос состоит в том, действительно ли социологи, используя искусственно выстроенные абстракции в сочетании со статистикой, тем самым представляют не более чем абстрактное единообразие и регламентированность поведения людей или же человеческая способность вести себя неким абстрактным, безличным образом должна была возникнуть и получить распространение первично, еще до того, как об этом заговорила социология. Ясное дело, такие мыслители, как Ф.Ницше и М.Фуко, настаивали бы на последнем, тогда как Э.Дюркгейм однозначно склонялся бы к тому, что принципы, лежащие в основе социологического метода, — дело чистой эпистемологии.

Иной способ решения этой дилеммы — принять допущение, в чем-то, пожалуй, следуя веберовской линии, что в некоторых регионах Европы у

людей развилась способность согласовывать свое поведение с четко установленными кодексами, тем самым сделав его упорядоченным и предсказуемым, тогда как в других регионах подобная практика не получила развития. В некоторых регионах абстрактные и универсальные законы сравнительно легко превратились в действенные регулятивы поведения больших сообществ, в иных, включая Англию, продолжали полагаться исключительно на традицию, обычай и общепринятые практические знания. Здесь не место давать оценку различным объяснениям такого рода гетерогенности, ссылаясь на религию, государственность или экономическую деятельность. Полагаю, достаточно остановиться на предположении, что социология изначально была вдохновляема опытом тех обществ, в которых абстрактные и объективированные регулятивные факторы поведения стали превалирующими. Само историческое развитие социологии можно, пожалуй, рассматривать в его соотнесенности с присущей определенным обществам приверженностью абстрактным правилам. Благодаря обыкновению опосредовать интеракцию кодифицированными правилами, регионы, где существуют подобные устои (или *gabumys* применительно к данному случаю), должны легче интегрироваться в единое целое посредством системных интегративных факторов вроде денег или власти. Таким образом, само распространение и институционализация социологии может сообщить нам нечто о существующей *de facto* социальной интеграции в различных регионах Европы.

3

Итак, я говорил о том, что каждая историческая общность (некоторые из коих стали национальными государствами) сохраняет свою сплоченность благодаря общепринятым практикам, которые с течением времени образуют традицию. Попытки интегрировать разные общества в более крупное целое обычно сопровождались формированием корпуса новых абстрактных правил, стоящих над местными традициями. Главная проблема при этом состоит в том, что при воплощении в практику новые правила неизбежно преобразуются под влиянием местных традиций и тем самым утрачивают свой абстрактный и универсальный характер. Прекрасный пример этого дает исследование практического функционирования местных властей в Италии, принадлежащее Р.Патнэму, который обнаружил здесь разительные расхождения в применении одних и тех же правил в разных частях страны [18]. Поэтому я предполагаю, что нечто подобное может произойти и на уровне Европы, с присущей ей множественностью культур и разностью исторических путей. Так, в некоторых частях Европы, похоже, преобладает приверженность устоявшимся правилам. Некоторые общества, можно сказать, согласуют свою практику приготовления блюд с поваренной книгой, тогда как иные вообще никогда ничем подобным не руководствуются.

Существуют традиции поведения, в которых само понятие о безличных правилах вовсе отсутствует. Либо, если такие правила там даже существуют формально, их субъективная, персональная трактовка имеет безусловный приоритет. Я бы назвал этот феномен “персонификацией”, а институциональные установления, проистекающие из такой практики, — “персонализмом”. Персонификация вообще представляет собой практику

превращения любого абстрактного безличного отношения в конкретное персональное и, как следствие, превалирование конкретных социальных отношений над их абстрактной формой. Далее я намерен обсудить практику персонафикации в связи с неоднократными заявлениями России о себе как о части Европы.

Однако сперва приведу один любопытный эпизод из моих первых впечатлений от западноевропейского общества. Это относится к тому времени, когда я со своими друзьями впервые побывал в одной из западных стран, в Бельгии, в 1989 году. Во время нашего пребывания там мы как-то подружились с парнем, как нам казалось, ничем от нас не отличающимся, который работал то ли менеджером, то ли служащим в небольшой сауне с бассейном в Брюсселе. Он распоряжался ключами от всего этого комплекса. Нас это по-настоящему впечатлило, и мы предложили устроить вечеринку ближе к ночи, после закрытия сауны. Парень, сказал: “Нет, это невозможно, в восемь сауна закрывается”. “Но у тебя же есть ключи, не так ли, — настаивали мы, — так что мы можем снова открыть ее и устроить вечеринку”. “Сауна закрывается в восемь”, — снова и снова повторял он, придерживаясь своего видения ситуации, в ответ на все наши увещания. Мы были искренне поражены его неспособностью ухватить суть нашего простого и естественного предложения. Я уверен, и он, в свою очередь, был раздосадован нашей неспособностью понять очевидную природу правил. То, что происходило с нами, было, в сущности, столкновением разных пресуппозиций, коренящихся в разных практиках. Как следствие, мы видели одну и ту же ситуацию несопоставимым образом. Бельгиец утверждал, в конечном счете, что правило состоит в том, что сауна работает с десяти до восьми, и это значит, что в пределах этого времени он впускает каждого, после этого — никого. Мы, русские, подразумевая то же самое правило, предполагали совсем другое его применение: с десяти до восьми в сауну допускаются абстрактные индивиды, а после восьми служащий может использовать ее для себя и для своих друзей. Наше истолкование правила было столь же естественно для нас, сколь его понимание — для него.

Если социология, рассматривая абстрактные формы, слепа к конкретным практикам, то — коль скоро мы исходим из существенной автономии практик от этих абстрактных форм — социология мало что может сказать нам об определяющих поведение традициях, в которых центральное место занимает персонафикация. М.Вебер известен тем, что предпринимал последовательные усилия, с тем чтобы проанализировать систему господства на основе личностного начала, которую он назвал патримониализмом [19]. Патримониализм представляет собой идеальный тип общественно-политической организации, основанный на персональной лояльности и взаимозависимости. Как таковой, он противопоставляется Вебером рациональной бюрократии, безличной форме социальной организации, порожденной модернизацией. Россия XVII столетия представлялась Веберу ярко выраженной формой патримониального государственного устройства. Дальнейшее развитие России он интерпретировал как движение в направлении западного бюрократического типа, предполагая, что патримониальные структуры постепенно исчезают в процессе модернизации. Чего Вебер так и не смог понять — это удивительной гибкости традиции и ее способности адаптироваться к условиям модернизации. Он полагал, что

поскольку патримониализм (персонализм, в нашей терминологии) является историческим феноменом прошлого, он должен отойти в прошлое.

Здесь опять же сказалось ошибочное толкование М.Вебером традиции. Будучи, собственно, традицией поведения в общественно-политической сфере в России, персонализм неизменно оставался фундаментом для всего, что возводилось на нем. Понимание социальными *акторами* общественных и политических отношений как личных отношений и вся система личной власти на любом ее уровне только утверждались с новой силой всякий раз, когда предпринимались какие-либо модернизационные усилия. Историк М.Раефф, изучавший процессы модернизации в России XVIII столетия, указывал на различное понимание индивидуализма в России и на Западе. Российский индивидуализм никак не соотносился с политическими и правовыми принципами, как в Англии; не основывался он и на авторитете корпоративных организаций, как во Франции. Западный индивидуализм отвечал плюралистическому обществу, все составляющие которого обеспечивали контроль и баланс интересов вне апелляции к третьей инстанции или распоряжениям правителя. В России, в полном соответствии с византийской традицией, как утверждает Раефф, индивидуализм означал не что иное, как возможность прямого доступа к правителю на личных началах, безотносительно к связующим нитям социальной солидарности и общественных институтов. “Как следствие, возрастание активной роли индивидов никоим образом не противоречило и не умаляло власти суверена; как раз напротив, власть монарха представлялась наилучшей гарантией личной безопасности и преумножения материального достатка” [20].

Как следует из многочисленных исследований, Россия оставалась системой высоко персонифицированных отношений и в экономике, и в политике вплоть до падения коммунистического режима. И после его падения именно традиции было суждено сыграть свою роль в становлении рыночной экономики и демократического государства. Парадокс состоял в том, что и рынок и демократия являются институтами, сущностно зависимыми от безличных регулятивов. Деньги, конкуренция и правовые нормы — все это предполагает социальных *акторов*, чье поведение приводится в действие безличными стандартами и чьи отношения опосредованы абстрактными нормами. Однако сей парадокс отнюдь не обескуражил россиян — по той простой причине, что не был обнаружен, поскольку здесь бытовало широко распространенное, но ошибочное представление, что формальные правила, редуцированная версия западного либерализма, сами по себе способны создать новое общество при условии, что реформаторы твердо держат политическую власть. Традиция поведения стала, таким образом, неосознаваемым условием действия, неизменно искажающим его результат. Многие явления, обычно рассматриваемые как искажения и просчеты российских реформ, на самом деле являются результатом творческого взаимодействия между традицией поведения в общественно-политической сфере, выражающейся в персонализме, и новыми правилами, привнесенными в это поведение, навязанными извне. Ближайшее рассмотрение практических результатов российских реформ — и прошлых, и нынешних — склоняет к мысли, что усматривать в них “европеизацию” глубоко ошибочно. Приведем два примера, иллюстрирующих это положение.

Первый касается правовой системы и ее применения в постсоциалистической экономике. Новый свод законов, относящихся к различным сторонам политической и экономической жизни, считался жизненно важной предпосылкой становления нового реформированного общества. Обратимся к исследованию К.Хендли, посвященному не столько экономическому законодательству, принятому за последние пять лет, сколько действительному применению законов, выражающемуся в поведении директоров предприятий [21]. Российские менеджеры, как оказалось, видят мало проку в законах и не верят, что правовые нормы обеспечивают защиту их интересов. Им чуждо представление о законе как об относительно нейтральной и стабильной системе норм. Все их действия направлены на укрепление личной власти, связей и неформальных институтов. Директор обычно берет на себя огромную власть и несет персональную ответственность; социальные отношения в экономике и управлении вертикально структурированы как отношения «патрон—клиент». Исследование показало, что стратегия выживания директоров предприятий, как правило, предполагающая укрепление личной власти, отмечена тенденцией уклонения от предписаний закона как раз потому, что последние неминуемо сводят власть к безличным силам либо передают ее в руки множества социальных *акторов*, ограничивая влияние директора.

Второй такого же рода пример — участь денег как универсального средства обмена и платежей. Создание по всей стране однородного пространства обмена рассматривалось как основная предпосылка нормального функционирования рыночной экономики. Формальные выкладки российских реформаторов и международных финансовых институтов сводились к тому, что посредством освобождения цен и ограничения объема денег в обращении правительство запустит в действие рыночный механизм, который будет способствовать процветанию экономически эффективных предприятий и заставит признать банкротство убыточных предприятий. Недавно проведенные Д.Вудруфом исследования показали, что, начиная с 1994 года, реакция социальных *акторов* на попытки властей внедрить повсеместно безличное средство обмена состояла в изобретении собственной, в высшей степени персонализированной системы обмена — бартера [22]. Там, где в силу недостатка денежных средств стало невозможно произвести какие бы то ни было платежи, дальнейший экономический обмен осуществлялся в виде бартера с использованием всевозможных товаров и услуг. В рамках этой системы конкретные товары служили для оплаты долгов, учитываемых в денежном выражении, и государство было вынуждено изобрести систему налогообложения в натуральной форме за доходы в натуральной форме. Таким образом, вместо того, чтобы использовать одно абстрактное и однородное средство выражения стоимости всех товаров — деньги, сами предметы потребления были вовлечены во многосложный натуральный обмен, в пропорциях, отражающих установленную на личных основаниях договорную цену. В противоположность практике монетарного обмена, когда продавец и покупатель вступают в отношения друг с другом как абстрактные индивиды, подобная бартерная система возможна только на основе уже сложившихся отношений, то есть на основе любого рода личных связей. Судя по той скорости, с которой до 70% всех сделок в столь необъятной экономике, как наша, стали производиться в форме бартера, остается лишь удивляться масштабам уже

налаженных личных уз и способности создавать их заново. Так что, похоже, на уровне практики местные традиции вновь и вновь будут подтверждать свою удивительную способность определять направление изменений и влиять на исход дела.

Хотя в России мы наблюдаем, возможно, крайний случай творческого освоения новых правил и институций местной традицией — вплоть до полного их пересмотра, подобный феномен отнюдь не является исключением. Это то, что отличает действующее, или живое общество от политических и экономических схем, представляющих его как абстрактную сущность, как систему формальных институций. Поэтому одна из задач социологии, поставленных перед ней политикой европейской интеграции, состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на многообразии местных традиций, чье влияние, может быть, не столь очевидно, однако поистине непреходяще.

Литература

1. *Ortner S.* Theory in Anthropology since the Sixties // Comparative Studies in Society and History. — 1984. — Vol.26. — P.126–166.
2. *Turner S.* The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge and Presuppositions. — Cambridge, 1994.
3. *Dreyfus H.* Being-in-the-world: A Commentary on Heidegger's Being and Time. — Cambridge, 1991.
4. *Schatzki T.* Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. — Cambridge, 1996.
5. *Kuhn T.* The Structure of Scientific Revolutions. — Chicago, 1962.
6. *Foucault M.* Discipline and Punish: The Birth of Prison. — N.Y., 1977.
7. *Bourdieu P.* Outline of the Theory of Practice. — Cambridge, 1977.
8. *Garfinkel H.* Studies in Ethnomethodology. — Cambridge, 1987.
9. *Bourdieu P.* The Logic of Practice. — Cambridge, 1990. — P.105–108.
10. *Wittgenstein L.* Remarks on the Philosophy of Psychology. — Chicago, 1980. — Vol.1. — P.97.
11. *Kripke S.* Wittgenstein on Rules and Private Language. — London, 1973.
12. *Taylor C.* "To Follow a Rule..." Philosophical Arguments. — Cambridge, 1996.
13. *Certau M. de.* The Practice of Everyday Life. — Berkeley, 1984.
14. *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilisation. — Berkeley, 1995.
15. *Polanyi M.* Personal Knowledge. — Chicago, 1958.
16. Practical Knowledge: Outline of a Theory of Tradition and Skills. — London, 1988.
17. *Oakeshott M.* Political Education // Rationalism in Politics and Other Essays. — London, 1962.
18. *Putnam R.* Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. — New Jersey, 1993.
19. *Weber M.* Economy and Society. — Berkeley, 1978.
20. *Raef M.* Political Ideas and Institutions in Imperial Russia. — San Francisco, 1994. — P.340.
21. *Hendley K.* Legal Development in Post-Soviet Russia // Post-Soviet Affairs. — 1997. — Vol.13. — P.228–251. (Я весьма признателен Д.Вудруфу, указавшему мне эту важную работу.)
22. *Woodruff D.* Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism. — Ithaca, 1999.